



Александр Абрамов

*Петербург – Ленинград – Петербург:
взгляд из Москвы*

Александр Абрамов. Родился в 1941 г. Физик, профессор Московского института электронной техники. Литературные произведения публиковались в отечественных и зарубежных изданиях: «Знамя», «Аврора», «Подъем», «Нижний Новгород», «Альбион» (Лондон), «Пражский Парнас» (Прага) и других, а также ряде антологий и коллективных сборников.

Я сердцем остаюсь с тобою,
Хоть не люблю глядеть назад.
Туманом, сыростью, Невою –
Ты мне приснился, Ленинград.

Прощания всегда несладки.
Недолго были мы вдвоем.
И все-таки в свиданьях кратких
Очарование свое.

Я не успел тебя понять,
Своей душой с твоею слиться,
Тебе родным и близким стать.
Я лишь успел в тебя влюбиться.

Февраль 1973 г.

Петербург-Ленинград! Когда начинаешь думать о нем, о его значении для русской культуры, то понимаешь: Петербург-Ленинград — это без преувеличения Вселенная русской культуры! Вселенная и колыбель одновременно! Здесь рождались современная русская литература, музыка, архитектура, живопись. Ломоносов и Петербургская Академия наук! Первые работы Ломоносова о русском стихосложении и его же первые

значительные достижения в русской поэзии. Царскосельский лицей и его замечательные выпускники. Здесь «старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Именно тут взшло Солнце русской поэзии — Пушкин. Над Петербургом витают тени Державина, Карамзина, Гоголя, Белинского, Некрасова... Здесь же начали выходить знаменитые российские журналы, в которых печатали свои произведения Лермонтов, Тютчев, Толстой... С Петербургом неразрывно связаны жизнь и творчество Достоевского, Блока, Брюсова, Гумилева, Ахматовой, Анненского и еще многих, многих писателей, составивших славу русской литературы. В Петербурге возникло до сих пор не прекращающееся противостояние западников и почвенников. Здесь рождались российский символизм, акмеизм и другие литературные течения. В Петрограде заседали Серапионовы братья, зажглась блистательная звезда Михаила Зощенко. В 1915 г. в квартире Александра Блока состоялась его встреча с Есениным, в результате которой Блок открыл двери Петроградских журналов для стихов начинающего Есенина. Не всем по душе оказывался Петербург-Ленинград с его климатом и с его писателями. Маяковский, по словам Ирины Одоевцевой, говорил о петербургских поэтах: «Мертвецы какие-то. Хлам. Все до одного, без исключения...» Ясно, что говорить такое о Петрограде можно было только в состоянии полемической запальчивости. В Петрограде в 1919 г. функционировал знаменитый Дом искусств, в котором спасались от голода и холода российские писатели и художники. С Петербургом связаны и многие трагические страницы в истории русской литературы. Гибель Пушкина, Гумилева, Есенина и многих других, позорный суд над Бродским — все это тоже Петербург-Ленинград. Блокадное Ленинградское радио и выступления на нем Ольги Берггольц, Седьмая симфония Шостаковича, «Реквием» Ахматовой — тоже незабываемые страницы русской культуры, связанные с Ленинградом. Уже в поздние Советские времена в Ленинградской поэзии громко зазвучали голоса Дудина, Горбовского, раннего Рубцова, Кушнера, Рейна и других поэтов. На Ленинградских улицах тусовались ставшие потом знаменитыми Бродский, Довлатов и их многочисленные талантливые друзья.

Многое можно вспомнить в связи с 315-летним юбилеем Петербурга. История этого замечательного города продолжается.

Вспомним некоторых поэтов, в той или иной степени связанных с Петербургом.

О Федоре Сологубе

Русская поэзия — это безбрежное море! И каждый значимый русский национальный поэт воссоздает и описывает свою Россию. Можно гово-

речь о России Кольцова и о России Некрасова, о России Есенина и о России Блока, о России Маяковского и о России Твардовского... И все эти России отражают какие-то свои стороны нашей великой и одновременно несчастной, бесконечно богатой и прекрасной, а в чем-то убогой и нищей, нашей любимой России.

Федор Сологуб (настоящее имя Федор Кузьмич Тетерников, 1863–1927) — очень русский поэт. Отец Федора Тетерникова — незаконный сын полтавского помещика, крепостной, после отмены крепостного права был портным в Петербурге. Умер, когда Федору было четыре года. Мать работала служанкой в богатой и интеллигентной семье. Бедное босоное детство поэта, которого частенько пороли и в школе и дома, наложило неизгладимую печать на его характер и творчество. Маленький, забитый жизнью человек, какие широко представлены на страницах произведений Гоголя, Достоевского и Чехова, становится главным героем как поэтических, так и прозаических произведений Сологуба. Ему все-таки удалось закончить институт, и в течение двадцати пяти лет он работал учителем сначала в городе Крестцы Новгородской губернии, а потом в Рождественском городском училище Петербурга.

В Петербурге Сологуб становится своим в кругу философов и поэтов символистов, таких как Д. Мережковский, К. Бальмонт, Н. Минский, З. Гиппиус. Он часто публикует как свои стихи, так и прозу. Его роман «Мелкий бес» становится знаменитым.

После Октябрьской революции Сологубу пришлось снова столкнуться с материальными трудностями. Кроме того, заболела психическим расстройством и покончила с собой (утопилась в Неве) его любимая жена Анастасия Чеботаревская.

Беспросветность русской жизни, тяжелое детство, «неотвязная нужда», «бесцветное житье», мотивы смерти встают в полный рост в произведениях Сологуба. Мрачная философия Шопенгауэра ему чрезвычайно близка. Чередование светлого и черного в жизни ярко показано в известном стихотворении Сологуба «Чертовы качели». Блок писал о Сологубовском видении «хаоса преисподней», «дьявольского лика» в человеческой пошлости, в мерзостях быта. В некоторых стихах Сологуб перевоплощается то в брошенную девушку, то обиженную собачку.

Несмотря на весь свой пессимизм, Сологуб посвящает гимны Родине:

О Русь! В тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!

Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса,
Среди болот, в бессильи хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса.

Твои суровые просторы
Томят тоскующие взоры
И души, полные тоской.
Но и в отчаянии есть сладость.
Тебе, отчизна, стон и радость,
И безнадежность, и покой.

Милее нет на свете края,
О Русь, о родина моя.
Тебе, в тоске изнемогая,
Слагаю гимны я.

В 1913 году Сологуб пророчески предсказал свою смерть:

Каждый год я болен в декабре,
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить
И склоняюсь к смерти в декабре, —
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре,
В декабре я перестану жить.

Он действительно умер 5 декабря 1927 г.

Ах, это призрак близкой смерти, преследующий русских поэтов. Вот наш современник Борис Рыжий незадолго до самоубийства пишет:

...Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.

Вот Николай Рубцов предсказывает свою смерть:

Я умру в Крещенские морозы...

Или Леонид Губанов задолго до своей смерти пишет:

Умер я, сентябрь мой,
ты возьми меня в обложку.
Под восторженной землей
пусть горит мое окошко!

И действительно умирает в сентябре...

Творчество Федора Сологуба — замечательного русского писателя, великолепного лирика — одна из ярчайших страниц русской поэзии Серебряного века. Закончу моим любимым стихотворением Сологуба:

Измотал я безумное тело,
Расточитель дарованных благ,
И стою у ночного предела,
Изнурен, беззащитен и наг.

И прошу я у милого бога,
Как никто никогда не просил:
— Подари мне еще хоть немного
Для земли утомительной сил.

Огорченья земные несносны,
Непосильны земные труды,
Но зато как пленительны весны,
Как прохладны объятия воды!

Как пылают багряные зори,
Как мечтает жасминовый куст,
Сколько ласки в лазоревом взоре
И в лобзании радостных уст!

И еще вожденней лобзанья,
Ароматней жасминных кустов
Благодатная сила мечтанья
И певучая сладость стихов.

У тебя, милосердного бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил!

Об Иннокентии Анненском

С мерцающих строк бытия
ловлю я забытые звуки...

И. Ф. Анненский

У поэта Иннокентия Анненского не очень много почитателей среди обычных читателей. Нужно быть Максимилианом Волошиным — теософом, обладавшим сакральным мышлением, или Александром Кушнером — замечательным поэтом и критиком, чтобы глубоко разобраться в творчестве Анненского. (У Волошина есть статья «И. Ф. Анненский — лирик», а у Кушнера — статья «Среди людей, которые не слышат», с подробными любовным анализом стихов Анненского).

Поражает многосторонность литературной деятельности Анненского. Работая директором гимназии и окружным инспектором, Анненский одновременно был переводчиком Эврипида и французских поэтов, автором статей по педагогике, литературным критиком, знатоком античности и французской литературы, поэтом-модернистом, автором нескольких трагедий.

На первый взгляд, поэзия модерниста Анненского выбивается из рула традиционной русской поэзии от Пушкина до Некрасова. Более того, его поэзия как-то стоит особняком от русского символизма Бальмонта — Блока. И только беспросветная русская тоска, пронизывающая все творчество Анненского, по-настоящему роднит его с русской поэзией. В свое время критики называли великого Чехова «певцом сумеречных состояний», что, конечно, совершенно несправедливо по отношению к Чехову. Но такое определение очень подходит к стихам Анненского.

Когда б не смерть, а забытьё,
Чтоб ни движения, ни звука...
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука.
Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?
Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?

В дождинках этих, что нависли,
Чтоб жемчугами ниспадать?..
А мне, скажите, в муках мысли
Найдется ль сердце сострадать?

«Вся жизнь моя — не жизнь, а мука», — это лейтмотив поэзии Анненского. «Петь нельзя, не мучась...», и даже звуки скрипки, вызываемые движением смычка — это тоже мука:

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось...

Если лед, то: «Этот нищенский синий и заплаканный лед!», если это апрель, то: «В желтый сумрак мертвого апреля...», если это подруга-осень, то опять бесконечное уныние:

Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.

Я твоих печальнее отречий
И черней твоих не видел вод,
На твоём линияло-ветхом небе
Желтых туч томит меня развод.

До конца все видеть, цепеня...
О, как этот воздух странно нов...
Знаешь что... я думал, что большее
Увидать пустыми тайны слов...

Если Анненский пишет о Петербурге, то видит там «пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета...» — и еще:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

Беспрерывное ощущение одиночества, ночные и дневные кошмары преследует Анненского всю жизнь, чувство приближающейся смерти сквозит во многих его стихах.

Можно удивляться таким трагическим нотам поэзии Анненского, если вспомнить, что он родился в состоятельной семье, окончил Петербургский университет, работал преподавателем в гимназии и на Высших женских курсах, а затем директором гимназии в Царском селе. Прекрасно переводил древних авторов и французских поэтов.

Да, можно удивляться, если только забыть о том, скольких русских поэтов одолевали те же мотивы в их творчестве. Пусть в других тональностях, но мы найдем эти мотивы и у Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

И у Лермонтова:

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Печалью пронизано все творчество нашего современника Николая Рубцова. Вот одно из его лучших стихотворений:

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.

И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

Можно ли в этих стихах отыскать следы барабанной газетной трескотни об успехах развитого социализма брежневских времен, когда жил Рубцов? Нет! Глухая печаль!

Может быть, не хочется это признавать, но не есть ли это всеобщее свойство русской жизни, отраженное в русской поэзии. Ведь, что как не поэзия есть тончайший барометр неблагополучия земного существования, особенно ярко проявляющееся в русской жизни на протяжении веков существования России! Об этом ясно написал Николай Некрасов:

Да! Но все-таки грустен напев
Наших песен, нельзя не сознаться.
Переделать его не сумев,
Мы решились при нем оставаться.
Примиритесь же с Музой моей!
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

Наверное, нельзя в заметках о поэзии Анненского писать только о нотах печали в его стихах. Не случайно же некоторые стихи его так нравились Блоку, а акмеисты считали его своим учителем.

Есть особое очарование в музыке многих стихов Анненского. Много, очень многое видел и слышал в этом мире Иннокентий Анненский того, на что не обращает внимания рядовой человек в своей повседневной суете. О России, о любви, о поэзии Анненский находил свои слова, которых не найти у других, тоже хороших, поэтов. Можно цитировать и цитировать замечательные находки в его стихах. Анненскому, после долгих лет практического забвения, посвящаются серьезные исследования и книги. Ясно, что без его творчества русская литература была бы не полна. Его стихи, его переводы, его критические статьи — это целый материк для дальнейших исследователей и любителей нашей поэзии.

Многие русские поэты ждали признания у потомков: Баратынский, Цветаева... Анненский тоже, живший, как он считал, «среди людей, которые не слышат...», ждал, что придут другие, кто «полюбит, и узнает, и поймет»...

Пока таких пришло не много, но настоящая поэзия может ждать долго...

Иосиф Бродский. Ни страны, ни погоста...

Если я заболею, к врачам обращаться не стану...

Я. Смеляков

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.

И. Бродский

Когда-то я написал иронически-шутливое стихотворение:

Ах, мои друзья-поэты
Любят красное словцо.

Сказанут про то, про это
Под дешевое вино.

Не сбылось, ну, не случилось –
Как поэту не простишь.
Рифма так ведь и просилась –
Перед ней не устоишь.

Но если оставить в стороне шуточки, то стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста...» принадлежит к числу моих любимых стихотворений. Причем, сам Бродский, судя по всему, это стихотворение к своим лучшим не относил.

Бродский больше ценил свои более поздние стихотворения. В этой связи интересны стихи, помещенные в известной антологии Евтушенко. Там есть подборка стихотворений, подготовленная самим Бродским, и подборка, сделанная Евтушенко. В этой второй подборке как раз доминируют более ранние стихи Бродского, среди которых фигурирует и «Ни страны, ни погоста...» Это стихотворение люблю не только я. Достаточно в любом интернетовском поисковике набрать первые строки этого стихотворения, как откроются буквально сотни ссылок поклонников этого стихотворения.

Думаю, секрета тут никакого нет. Стихи Бродского, как правило, содержат такое количество шарад, головоломок, разгадать которые могут весьма немногие.

Проиллюстрирую это утверждение следующим примером. Вот одно типичное стихотворение Бродского:

Л. С.

Осень — хорошее время, если вы не ботаник,
если ботвинник паркета ищет ничью ботинок:
у тротуара явно ее оттенок,
а дальше — деревья как руки, оставшиеся от денег.

В небе без птиц легко угадать победу
собственных слов типа «прости», «не буду»,
точно считавшееся чувством вины и модой
на темно-серое стало в конце погодой.

Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет,
и еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.

Остановись, мгновенье, когда замирает рыба
в озерах, когда достает природа из гардероба
со вздохом мятую вещь и обводит оком
место, побитое молью, со штопкой окон.

Как расшифровать фразу «если ботвинник паркета ищет ничью ботинок»? Вроде слова ботвинник и ничья отсылают к шахматам (правда, при чем здесь шахматы?). Может быть, паркет ассоциируется с шахматной доской? Может быть, вставший с постели человек шарит на паркете ботинок? Опять — при чем здесь осень? После этой фразы стоит двоеточие. Но дальше идет предложение: «у тротуара явно ее оттенки», видимо относящийся к осени? Короче, шарада еще та! Конечно, при желании в этом стихотворении можно найти много интересного. Это и деревья, осенью похожие на руки, оставшиеся от денег. Это и природа, которая осенью раскидывает из гардероба мятые вещи. Это и мелкий осенний дождик, зарядивший надолго, после которого ничего не будет, кроме унылой зимы. Но все эти находки чередуются с шарадами и кроссвордами, через которые читателю или слушателю надо продираться, как через дремучий лес.

И вот среди других его таких стихотворений — эта жемчужина:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
Между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
попешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,

— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

Тут — и узнаваемый Петербург с его мостами, дымами и моросью, и Петроградский патриотизм, к которому поздний Бродский несколько охладел. И замечательный изящный образ двух прошлых жизней — двух сестричек, машущих мальчику, уходящему во взрослую жизнь. И сердечность, которой так не хватает в подавляющем большинстве его стихотворений. Вспомним в этой связи слова Солженицына: «Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике — это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику».

Сначала, когда я начал анализировать стихотворение «Ни страны, ни погоста...», я полагал, что это стихотворение — прощание Бродского с Петербургом, когда его выслали из СССР. И две жизни, которые фигурируют в стихотворении — это, во-первых, жизнь до ссылки за «тунеядство» и, во-вторых, семь лет в СССР после ссылки. Но, на самом деле, стихотворение написано в 1962 году, за несколько лет до его ссылки. И возникает естественное предположение о пророческом смысле этого предсказания о том, что у Бродского будет две жизни: одна в родной стране и одна на чужбине. Впрочем, не исключено, что здесь есть намек на реинкарнацию, то есть две прошлые жизни — это жизни, бывшие у его души раньше (до его рождения). Кстати, именно в 1962 г. Иосифа Бродского опалила любовь к Марине Басмановой, которую он пронес через многие годы своей жизни. Так что отблеск этой любви, возможно, и наложил свой отпечаток на этот стих и придал ему такую душевность.

Заметки о Гумилеве и Мандельштаме

Одно время Гумилев, Мандельштам и Ахматова были членами небольшой, но очень влиятельной, поэтической группы, называвшей себя «Цехом поэтов». Тон в этой группе задавали так называемые «синдики» — Гумилев и Городецкий, которые поочередно руководили заседаниями «Цеха».

В рамках этого объединения было выработано новое художественное течение — акмеизм. Гумилев утверждал, что акмеизм приходит на смену умирающему символизму. Акмеисты в отличие от символистов (в произведениях которых преобладали расплывчатость, туманность, мистика)

добивались в своих стихах большей конкретности, большей точности деталей и четкости рисунка, большей реалистичности изображения.

Надо сказать, что Гумилев, Мандельштам и Ахматова — очень разные поэты. Мужественная поэзия яркого романтика Гумилева очень далека от тонкой чувственной поэзии Ахматовой.

Мандельштам в своем творчестве прошел несколько этапов.

Прочитирую здесь Википедию:

«Период "Камня": сочетание "суровости Тютчева" с "ребячеством Верлена". "Суровость Тютчева" — это серьезность и глубина поэтических тем; "ребячество Верлена" — это легкость и непосредственность их подачи. Слово — это камень. Поэт — архитектор, строитель. Период «Tristia», до конца 1920-х годов: поэтика ассоциаций. Слово — это плоть, душа, оно свободно выбирает свое предметное значение. Другой лик этой поэтики — фрагментарность и парадоксальность. Период тридцатых годов XX века: культ творческого порыва и культ метафорического шифра».

Не знаю, как другим почитателям поэзии Мандельштама, а мне больше нравятся стихи из сборников «Камень» и «Tristia». Зашифрованность таких стихов Мандельштама, как «Грифельная ода», по моему мнению, переходит все допустимые границы. Мне кажется, что уход Мандельштама от поэтики «Камня» и «Tristia» во многом связан с тем, что после расстрела Гумилева в 1921 году Мандельштам потерял своего лучшего друга, советника и критика, каким был для него Гумилев. В этой связи интересны свидетельства друга Гумилева и Мандельштама Георгия Иванова, который пишет, что большинство стихов Мандельштама из сборников «Камень» и «Tristia» прошли через чистилище цеховой, главным образом, гумилевской критики.

Роль Гумилева, как учителя, была исключительно высока. Гумилев поставил на правильную дорогу Ахматову, Зенкевича, Лозинского, Одоевцеву. Даже после смерти Гумилева Мандельштам вносил в свои стихи поправки, сделанные ему раньше Гумилевым.

Георгий Иванов и Сергей Довлатов

Годам к сорока, прочитав массу всевозможных книг, я выстроил в голове некую свою собственную шкалу прозаиков и поэтов, и там образовалась «золотая полка» произведений, которые мне нравится перечитывать. С тех пор эта полка пополнилась очень незначительно. Пожалуй, самые яркие новые пополнения этой полки — это Сергей Довлатов и Георгий Иванов. Несмотря на то, что Довлатов — прозаик, а Иванов главным образом — поэт, между ними много общего.

И тот, и другой не получили высшего образования. Иванов не закончил даже кадетского корпуса. Довлатов, проучившись два с половиной

года на отделении финского языка в университете, загремел в армию, где прослужил три года в конвойных войсках МВД. Впрочем, русских писателей, не доучившихся в институтах и университетах, много. Достаточно вспомнить Лермонтова и Льва Толстого.

И Иванов, и Довлатов с самых юных лет хотели стать писателями. Иванов опубликовал рецензию на книгу стихов Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» в шестнадцать лет. Еще будучи совсем молодым человеком, Иванов был знаком и даже дружен со многими известными писателями. Довлатов, несмотря на все перипетии своей непростой биографии, был с ранних лет насквозь пропитан литературой. Он мог часами разговаривать на литературные темы, обсуждая тонкости писательского дела и особенности литературного стиля Зощенко, Хемингуэя, Куприна, Бунина и других писателей.

И Иванов, и Довлатов закончили свои жизни в эмиграции. Правда, Довлатов получил в США полное признание, публиковался в лучших журналах, его произведения переводились на английский язык и пользовались популярностью у американских читателей. А Иванов со своей женой Ириной Одоевцевой последние пять лет его жизни в полной нищете обитали в приюте для престарелых во французском городке Йере недалеко от Тулона.

Но не эти обстоятельства главные. Есть нечто объединяющее этих писателей, как в отношении к жизни, так и в их творчестве.

В своей статье о Довлатове «Мир уродлив, и люди грустны» Иосиф Бродский пишет: «Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо». Бродский относит и себя к этому поколению. Я полагаю, что это утверждение, сказанное о поколении, пришедшем в более поздние времена по сравнению с теми, когда жил Георгий Иванов, относится и к Иванову. Есть некоторая интеллектуальная свобода в творениях, как Довлатова, так и Иванова. Это особенно относится к их мемуарным произведениям. Они оба рассматривали окружающий мир и окружающих их людей в первую очередь, как материал к своему художественному творчеству.

Иванов говорил о своих воспоминаниях «Петербургские зимы», что там правды только двадцать пять процентов. Многие сильно обижались на эти воспоминания. Например, Анна Ахматова писала: «Сплошное вранье! Ни одному слову верить нельзя!» Обиду на «Петербургские зимы» высказывал и Игорь Северянин.

Об анекдотах Довлатова о его знаменитых современниках тоже неодобрительно высказывались многие затронутые им персонажи. Вознесенский говорил, что все, что писал о нем Довлатов — неправда! Впро-

чем, позже он сменил гнев на милость, и говорил что-то вроде того, что, поскольку Довлатовские анекдоты гениальны, то история их оправдает.

Есть мнение, что поэт всегда прав. Скучное бытие под пером Довлатова становилось значительным и, главное, очень интересным.

Можно в этой связи вспомнить строки Бориса Рыжего, который тоже не очень давно расположился на золотой полке моих любимых авторов:

Ведь только так и можно жить –
судьба бедна. И скуден свет
и жалок. Чтоб его любить,
додумывай его, поэт.

И Иванов, и Довлатов смотрели на жизнь через магический кристалл искусства, преображая серую действительность в художественный материал, который в некотором смысле — более правда, чем сама эта серая действительность.

Дело в том, что талант настоящего художника вносит в его произведения художественное обобщение, и за каким-то частным случаем, происходящим с героем этого произведения, читатель видит нечто типичное, характеризующее уже целый пласт подобных явлений и типажей.

Довлатова роднит с Ивановым также долгий путь к высокому мастерству. Иванов долгие десятилетия считался весьма средним поэтом. В начале века его называли эпигоном Кузьмина, и уж всеми считалось, что ему далеко до его друга — Николая Гумилева.

Иванов всегда мечтал стать великим поэтом, но в его более ранних стихах присутствовал некий холод и снобизм лощеного эстета, и не хватало живого человеческого чувства:

Когда же я стану поэтом
Настолько, чтоб все презирать,
Настолько, чтоб в холоде этом
Бесчувственным светом играть...

(1923 г.)

Ходасевич в 1916 году писал об Иванове:

«Г. Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать».

Это пожелание исполнилось в жизни Иванова в его эмигрантской жизни. Нищета, неизлечимая болезнь сделали среднего поэта великим.

Основной камертон поэзии Иванова — Пушкинское «Цели нет передо мною: сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум» — звучит уже и в его относительно ранних стихах:

Все тот же мир. Но скука входит
В пустое сердце, как игла,
Не потому, что жизнь проходит,
А потому, что жизнь прошла...

(1924 г.)

Но в последних стихах этот мотив, усиленный тоской о покинутой России, зазвучал с особенно пронзительной силой:

Я не знал никогда ни любви, ни участия.
Объясни, что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?
Постараюсь, хотя это здорово трудно:
Как слепому расскажешь о цвете цветка,
Что в нем ало, что розово, что изумрудно?

Счастье — это глухая, ночная река,
По которой плывем мы, пока не утонем,
На обманчивый свет огонька, светляка...

Или вот:

У всего на земле есть синоним,
Патентованный ключ для любого замка —
Ледяное, волшебное слово: Тоска.

(1950 г.)

Стихи, написанные Ивановым в последние пятнадцать лет его жизни, позволили ему смело занять «бедное, потертое кресло первого поэта русской эмиграции» (Р. Гуль).

Иванов писал перед смертью:

Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы.

...О русском снеге, русской стуже...
Ах, если б, если б... да кабы....

И в другом стихотворении:

Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

И это время настало. После возвращения его стихов в современную Россию Иванов, бесспорно, стал для любителей поэзии в один ряд с лучшими поэтами Серебряного века.

Блестящая проза Сергея Довлатова тоже появилась не в одночасье. Не случайно Довлатов категорически возражал против опубликования его ранних произведений, оставшихся в России. Он многократно перерабатывал и шлифовал свои ранние рассказы. Довлатов намеренно усложнял процесс своего писания, чтобы не использовать первые подвернувшиеся под руку слова. Например, он стремился достичь того, чтобы в одном предложении не было слов, начинающихся с одной и той же буквы. Он десятилетиями вырабатывал свой стиль, характеризующийся краткостью, точностью, тонким юмором. Будучи непревзойденным рассказчиком, он многократно обкатывал свои рассказы на разных слушателях, пока эти миниатюры не приобретали нужные ему черты.

В результате его проза стала такой, что ее не спутаешь ни с чьей другой. Мало таких писателей, кого можно поставить на «золотую» полку рядом с книгами О. Генри, Марк Твен, Ильфом и Петровым, Зощенко. Довлатову это удалось.

Как писал Георгий Иванов:

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность поражения.
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.
Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...»
Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.

Можно сказать, что и Иванова, и Довлатова сожгла музыка их творчества. Они оба вели большую игру с жизнью и знали горечь многих поражений. Они умерли неоправданно рано.

Но главное — они выиграли свою игру, и ушли после смерти в бес-
смертье!

Ольга Берггольц на втором съезде РСФСР

7 марта 1965 г. закрылся съезд писателей РСФСР.

Мой отец, Абрамов Анатолий Михайлович, был делегатом этого съезда. Он выступал на съезде и привлек внимание анализом стихов поэтов-узников фашистских концлагерей. Этот материал потом составил одну главу в его докторской диссертации «Лирика и эпос Великой Отечественной войны».

Эта тема тогда была полузапретной. Столько было в плену у немцев наших солдат, что даже поэтов среди них оказалось много десятков. Так что требовалась смелость, чтобы широко обсуждать эту тему.

Вечером этого дня в Колонном зале Дома Союзов был вечер, посвященный закрытию съезда. Я тогда работал научным сотрудником в Подольске в «почтовом ящике». Отец меня взял с собой на этот вечер. Так мне посчастливилось слушать выступления Веры Кетлинской, Майи Румянцевой, Владимира Гордейчева, Сергея Орлова, Михаила Дудина, Роберта Рождественского и Ольги Берггольц. Я тогда по свежим следам записал свои впечатления.

Ольга Берггольц знаменита своими стихами, которые она читала по радио в осажденном немцами Ленинграде. В описываемое время она была уже тяжело больной. Ее ввели под руки двое мужчин и усадили во втором ряду президиума.

Алим Кешоков, объявлявший выступавших, по поводу каждого следующего оратора долго рассыпался в длинных восточных комплиментах. Когда же дошла очередь до Ольги Берггольц, он просто сказал: «Перед вами выступит Ольга Берггольц», видимо, сам понимая неуместность здесь каких бы то ни было комплиментов.

Действительно, кто не знает потрясающих строк: «Что может враг? Разрушить и убить. И только-то? А я могу любить...»

Берггольц встала и как-то робко, немного боком, пошла к трибуне. По пути она уронила платок, нагнулась, чтобы его поднять, неловко улыбнулась и пошла дальше.

Ее выступление звучало примерно так:

«Здесь до меня Вера Кетлинская выступала со своими впечатлениями о съезде, о вопросах, затрагиваемых на съезде, в частности, об интеллигентности писателя. Я в целом присоединяюсь к ней, добавлю лишь следующее. Кетлинская в своем выступлении часто употребляла такое выражение, как "один делегат, выступавший на съезде". Мне хочется сказать,

что с такими выражениями, как "один делегат, один журнал", надо кончать, особенно в настоящее время. (Напомню, что это было время Хрущевской оттепели. — А. А.). Поэтому я буду говорить, называя имена. Сафронов, выступая на съезде, долго говорил об идейности и партийности. Если нам после пятидесяти лет Советской власти все еще приходится все время об этом говорить, то наши дела плохи. Далее он говорил об интеллигентности писателя. Дескать, нам не нужен какой-то особо интеллигентный писатель, оторванный от народа. Мне хочется сказать, что такие вещи, как Сафронов и интеллигентность, не имеют ничего общего между собой. Сафронов может рассуждать на эту тему на уровне только стряпухи (пьеса Сафронова. — А. А.). Я долго думала, какое из своих стихотворений прочитать мне сегодня, и решила почитать стихи из "пробитой тетради". Когда в сороковых годах многих моих друзей уже взяли, а я ждала этого со дня на день, то я тетрадь со своими стихами прибила гвоздем к обратной стороне дверцы кухонного стола, надеясь, что их не найдут при обыске. (Напомню, что мужем Ольги Берггольц был поэт Борис Корнилов — автор известной песни «Нас утро встречает прохладой», который был тогда арестован и расстрелян. — А. А.). Сейчас я часто обращаюсь к тем далеким годам (1937 г.). Мне посчастливилось (повысив тон и как бы с вызовом), я не лицемерю, мне посчастливилось быть среди тех, кого сейчас уже нет — в те страшные годы, когда те, кто попадал туда, были страшными для тех, кто остался, а кто случайно возвращался сюда, считался предателем там».

Ольга Берггольц говорила с напряжением, иногда повышая голос, почти без того, что называется выразительным чтением. Просто говорила то громче, то тише, но впечатление было потрясающим. Словно говорили обнаженное сердце и совесть эпохи.

Еще мне запомнилось, как блестяще читал свои стихи Михаил Дудин:

А мне Москва была мала,
мне неуютно было.
Метель январская мела,
и всю Москву знобило...

Потом в номере гостиницы «Москва», где остановился мой отец, несколько писателей — папиных друзей и знакомых — обсуждали съездовские перипетии. Но я ярче всего запомнил, как Гавриил Троепольский рассказывал о повадках разных птиц. Это были потрясающие рассказы.